

Игорь Кузнецов

Город без невесты

Генерал из песочницы

Вернулся я в Иваново из Киргизии, куда меня на пять лет увозили сразу после рождения. В новый детский сад я пришел с металлическим игрушечным «газиком» в руках, не зная слова «горбушка». У нас во Фрунзе ее называли «краешек».

После нескольких переездов, путем сложно-родственных обменов, мы с мамой поселились на улице Театральной, в бывшей бабушкиной квартире. Бабушка Наталья Михайловна не умерла, а съехала со старшей дочерью, таким образом «улучшившей» свои жилищные условия, наивно и жадно не посчитавшись с тем, что характер у бабушки был сложный и непреклонный, отчасти даже тиранического свойства, с выкрутасами, что объяснялось и некоторыми объективными причинами: во время войны бабушка была секретарем парткома крупной швейной фабрики, заработала туберкулез, а методы руководства и общения с людьми в суровое военное время сохранила уже на всю жизнь.

Родом бабушка и дедушка были из поселка Собинка Владимирской губернии, куда до революции входил и безуездный город Иваново-Вознесенск. В Собинку мы однажды во времена моего детства съездили с мамой, пообщались с нашими не слишком гостеприимными родственниками, а запомнилось мне наше «родовое гнездо» исключительно дубовыми рощами по берегам Клязьмы, в которую впадает и река Увель, пересекающая Иваново с севера на юг.

Деда Михаила Дмитриевича, еще довольно молодым, на излете 30-х годов прошлого века назначили секретарем одного из райкомов города Иванова. Мама вспоминала, что большинство «обкомовских дач» в местечке Ломы стояли пустыми, с забитыми крест-накрест окнами. Деду, похоже, тогда повезло или, скорее, он просто не успел слишком уж вырасти «к раздаче». Мало того, вскоре его даже назначили секретарем горкома Белостока — после только что случившегося «добровольного» присоединения к СССР части территории Польши.

В июне 41-го он успел бабушку с моей будущей мамой и теткой отправить последним эшелонам из Минска — так они снова оказались в Иваново. Сам он уже больше никуда не вернулся. После войны бабушка посылала запросы в разные инстанции. Единственное, что удалось более или менее доподлинно узнать: дед должен был возглавить подпольный Могилевский обком партии, но не возглавил, следов в истории больше не оставил и считался пропавшим без вести. Скорее всего, погиб в первые же дни войны. Кажется, бабушка написала даже самому Усатому. Едва ли тот лично письмо читал, но никакой предательской вины деда, видимо, не обнаружилось, потому что, по семейной легенде, именно после этого обращения бабушке выделили комнату в очень хорошем начальственном доме на улице Негорелой и даже прикрепили к какому-то не самому главному распределителю. Так они все выжили, а дочери выучились и продолжили род.

Мама окончила Ленинградский горный институт, попала по распределению в Киргизию, откуда и приезжала рожать меня в Иваново, куда мы снова и окончательно на тот момент вернулись спустя те самые пять лет.

Детский сад располагался в тупике улицы Уводской и запомнился неправдоподобно вкусным желе: его горячим разливали по чашкам и ставили остывать на подоконники.

Напротив моего желтого дома на улице Театральной, за зеленой оградой, пронизанной ветками акации, торжественно стояло красное здание нашей тридцатой школы, считавшейся едва ли не лучшей в городе.

Театральная улица с одной стороны завершалась конструктивистским зданием Банка и театром Музыкальной комедии, с другой — упиралась в улицу Почтовую, прямо напротив психиатрической лечебницы. Спустя много лет в ее бывшем морге снимали офис мои московские коллеги, не обремененные сакральными знаниями о прежнем предназначении аккуратного, отдельно стоящего флигеля. Вторая психиатрическая лечебница, амбулаторного типа, для проходящих больных, прижималась боком к общей с нашей школой тоже краснокирпичной стене.

А самым забавным, наверное, в моей жизни совпадением по времени и пространству стало мое знакомство в детсадовской песочнице с очкастым мальчиком Серёжей — потом мы с ним стали одноклассниками, учились на одном курсе истфака в университете, из которого я ушел, а он, его окончив, выбрал стезю юриспруденции и в конце концов стал генералом милиции, будущей полиции. Из его раннего милицейского опыта лучше всего помню одну историю, а рассказывать он их всегда был мастер. В сферу ответственности их подразделения входило и кладбище Балино, где вокруг и около кладбищенских услуг подвизалось немало асоциальных элементов. Вот их поисками и временным водворением в кутузку и занимался тогда Серёжа. Иногда подопечные успевали разбежаться, но порой их брали сонными — прямо в гробовой мастерской, где они уютно спали на стружках непосредственно в гробах и очень не любили, если некие внешние силы перебивали их сладкий послеобеденный сон. Но когда бравым милиционерам как-то в очередной раз пришлось их покой нарушить, один свежеструганный гроб оказался накрытым крышкой, но гвоздями еще не забит. Серёжу и остальных его товарищей-милиционеров сей факт немало озадачил и сильно заинтересовал. Общими и совсем не малыми усилиями они крышку все же сдвинули и, можно сказать, буквально сорвали с гроба, обнаружив внутри него прежде мирно спящего, а теперь бессовестно и бесповоротно разбуженного, хотя и очень изобретательного элемента: изнутри к крышке гроба он приделал дверную ручку, за нее и держался, чтобы подольше сохранить спокойное и сладостное уединение на мягкой подстилке из свежих пахучих стружек.

А с бабушкой, помню, мы частенько на пару играли в подкидного дурака «с погонами» и очень веселились, когда их удавалось нацепить на проигравшего. И еще, когда меня невозможно было загнать с улицы домой обедать, моя суровая бабушка, покричав мне с балкона, выходила к скамейке перед подъездом и вручала мне бутылку кефира и полбатона. Наверное, не такой уж строгой и непреклонной она была.

Козье болото и египетская мумия

Из нашей лучшей школы меня чуть не выгнали после восьмого класса за сплошные тройки.

Во мне каким-то загадочным образом совмещались интерес к чуду мироздания и тяга к нелучшим отпрыскам тогдашнего ивановского человечества: одно время я активно дружил с хулиганами, которые учились не в нашей, а в соседней школе, тридцать третьей, и поголовно жили в частном секторе, в отличие от большинства моих соучеников, живших в многоквартирных домах, пусть иногда и тесновато, зато со всеми удобствами.

Хулиганы носили соответствующие прозвища, помню Сидора, Поню и Балаку, и не отличались любовью к образованию, зато наводили страх на ближайшие окрестности, регулярно били забредавших на их территорию чужаков и в целом более всего уважали силу и чужой опыт тюремно-лагерных «ходок». Думаю, что большинство из них как раз пошло той самой дорожкой или влилось в число «элементов» с кладбища.

Но мне с ними почему-то очень, хотя и недолго, нравилось. Большой «шоблой» мы ездили купаться на Козье болото, располагавшееся как раз на полпути от нашего центра до кладбища Балино. А вот от воровской романтики у меня, наверное, изначально были какие-то прививки. Да и мои приятели-хулиганы были какие-то все гнилые — я не сразу это понял, но как-то порвалось с ними резче, нежели изначально задружилось.

На самом деле меня, наверное, спасла египетская мумия, очень рано пробудившая во мне интерес к таинственному и прекрасному.

Во времена моего детства художественный музей располагался в чудом сохранившейся боковой галерее циклопического здания театра, «сползавшего» по склону к реке. Построено здание было где-то в тридцатые на месте вполне благополучно стоявшего там прежде храма или даже монастыря. До сих пор не знаю, сколь долго оно функционировало в изначальном качестве, но я уже застал этот многоступенчатый зиккурат совершенно заброшенным. Ходили слухи, что где-то под ним бьют подземные ключи, посему здание и стало разрушаться. То, что монастырю ключи эти как-то не мешали, было предметом тайного злорадства особо продвинутых жителей. (Может, это и неправильно, но я нарочно не лезу в интернет за фактическими подробностями, дабы задним числом не приписывать себе излишнюю осведомленность, а оставаться в пространстве народных мифов.)

В музее была неплохая коллекция русской живописи и довольно обширный для областного уровня древнеегипетский раздел со своей собственной мумией. Она-то меня и заворожила, и я приходил прежде всего ради нее, заодно, конечно, приобщаясь и ко всему остальному. Позже музей переехал в просторное краснокирпичное здание бывшего коммерческого училища — и я туда ходит в школу юного искусствоведа, вполне логично подтолкнувшую меня к поступлению в художественную школу, где на тот момент учились уже две мои одноклассницы.

Рисунок и живопись мне давались неплохо, чуть хуже — композиция, а история искусств так и вовсе хорошо. Но в середине третьего класса (а учились там всего четыре года) к нам пришел мальчик, рисовавший такие тонкие, прозрачно-влажные акварели, что я художественную школу, не доучившись, бросил. И вовсе не по причине зависти. Я просто понял, что лучше него рисовать не смогу, а это меня никак не устраивало. Так и закончилась моя художественная карьера, можно сказать, на этапе несостоявшегося взлета. Зато все больше клонило к сочинительству. Правда, и тут я испытал некий иску. В восьмом классе у меня возникла уже довольно четкая дилемма: стать писателем или журналистом-международником. В последнем меня более всего привлекала возможность повидать мир, иными способами тогда едва ли доступная. И все же внутреннее чутье не подвело — уже тогда я еще смутно, но догадывался, что вольное сочинительство и в этом смысле дает гораздо больше, хотя бы в плане метафизическом.

С хулиганами мне стало совсем неинтересно. И мы уже по-настоящему подружались с некоторыми одноклассниками, в число которых входили и ученики из параллельного класса «Б». Развлечения наши были вполне разнообразными, но одним из самых увлекательных стали исследования того самого сползавшего здания драмтеатра, как раз впавшего в бесконечную реконструкцию. Мы лазили по его таинственным лабиринтам, ходили по стальным узким балкам над пропастью будущего зала и сцены, реально рискуя своими молодыми жизнями. До сих пор радуюсь, что о наших опасных верхолазных похождениях никогда не узнала мама.

В старших классах я учился хорошо, несмотря на все наши юношеские избыточные увлечения, прежде всего алкогольного свойства.

А купаться теперь мы с друзьями ездили в парк Степанова, в походы ходили на речку Страданку — за Ломы, где когда-то, во времена моего деда, стояли заколоченными обкомовские дачи. По дороге однажды видели медведя, на поверку оказавшегося вывернутым сосновым корнем, но страха натерпеться успели.

Справедливости ради надо сказать, что сползающее театральное здание все же, когда меня уже давно не было в городе, укрепили и привели в порядок, и в нем поселились сразу три театра — драматический, музыкальный и кукольный, разбили перед ним просторный сквер и запустили фонтан. Кстати, и теперь просторная площадь, лишь край которой занимает театр, носит имя Пушкина.

Писатель Сердюк и зелёный ликёр

Отцом моего одноклассника Серёжи Сердюка был Виталий Ефимович Сердюк, тогда, наверное, самый известный ивановский писатель. Он печатался не только в местной прессе и Верхне-Волжском издательстве, но и в Москве, в журнале «Наш современник» (там позже выходили его не только повести, но и роман). А статус писателя тогда был высок. И без завидного кожаного пиджака, конечно, не обошлось.

Мы с Серёжей дружили, и я любил приходить в их дом — там был настоящий писательский кабинет с невероятной, чудесной библиотекой.

И однажды, когда мы были одни, еще мелкие восьмиклассники, Серёжа откуда-то из закромов этого самого кабинета выудил бутылку зеленого ликера.

Мы выпили по паре рюмок и разошлись. Но он забыл их, рюмки, помыть. И папа их обнаружил.

— Кто? — строго, наверное, спросил папа.

— Да с Кузнецовым...

— Передай своему Кузнецову, чтоб в нашем доме больше никогда не появлялся.

Правда, потом, когда мы как-то все юношески-пьяные болтались возле дома другого одноклассника и нас повязали, на родительском собрании по этому поводу одна мамаша в 1977 году все причитала: «У стен обкомовского дома! У стен обкомовского дома!» — папа-Сердюк встал и сказал:

— Какая разница, у какого дома! Это же наши дети!

Но Серёжа все передал мне много раньше. И я соблюдал запрет неукоснительно. Всегда. Хотя все другие о нем, наверное, благополучно забыли.

Прошло время, да не так чтоб уж очень много, лет десять с небольшим.

И сию я однажды в Пёстром зале ЦДЛ за столиком с двумя знаменитыми писателями. Там, естественно, накурено, мест нет. И тут я вижу, как от очереди к буфетной стойке отходит со своим стаканом и бутербродом Виталий Ефимович и обводит зал без наличия мест. Я искренне вскочил:

— Виталий Ефимович, здравствуйте! — и взглядом испросив разрешения у тех, с кем я сидел, нашел стул и пригласил его за наш стол. — Знакомьтесь: Виталий Ефимович Сердюк, писатель из Иванова. Владимир Семёнович Маканин. Владимир Викторович Орлов.

Конечно, это был в своем роде мой триумф, хотя я просто был рад всех познакомиться. Может, я тогда про этот дурацкий ликер и неразумное «отлучение» от дома сразу и не подумал. И хорошо сидели, общались. Но ведь вспомнил потом. А скорее всего, сразу — детские обиды, они злопамятны. И еще свербело: я ж его простил, а он этого даже не заметил! До сих пор стыдно.

Нет уже ни Серёжи, ни Владимира Викторовича, ни Владимира Семёновича, ни Виталия Ефимовича. А я все помню. А вдруг не было бы этих двух не помытых вовремя рюмок? Забыл бы?

Школа, цирк, краеведческий музей и прочие достопримечательности

Наша школа №30 на улице Степанова, краснокирпичная бывшая женская гимназия, носила имя местной революционерки, там когда-то тоже учившейся, кажется, даже настоящей террористки, впрочем, не слишком удачливой. А еще одна близлежащая улица, параллельная Степанова и моей Театральной, и вовсе была Нечаева, того самого, главного из бесов, ставших прототипами одноименного романа Достоевского. После конца советской власти ее все же переименовали, уже не помню, в честь кого или чего.

О том, что школа оставила по себе самые лучшие воспоминания, говорит тот факт, что мы с одноклассниками, уже окончательно не разделяясь на «А» и «Б», довольно регулярно, хотя бы раз в несколько лет, в ней, сильно изменившейся внутри и разросшейся в стороны двумя новыми корпусами, уже из белого кирпича, собираемся. До недавнего времени к нам присоединялись, правда, все меньшим числом, и наши учителя. Наш вечный завуч, Галина Александровна, помнила нас всех по именам, что всякий раз возвращало в школьные детство-юность и свидетельствовало о ее к нам любви, с годами становившейся все более взаимной.

Бродя по изрядно отремонтированному школьному зданию, заглядывая в наши бывшие классы и предаваясь ностальгическим воспоминаниям, мы не забыли и о навсегда утраченных деталях: в свои школьные годы, носясь по коридорам, мы иногда запинались за края плиток, выстилавших пол и от времени державшихся уже не слишком прочно, — если одна из плиток, этакое серо-зеленого матового оттенка, невзначай переворачивалась, на ее исподе легко прочитывалась дата изготовления — 1907 год. Не то чтобы нас это сильно волновало, но к реальной истории точно приобщало.

В городе на моей памяти всегда был цирк. Сначала — старый, возведенный, кажется, в тридцатых и, по тогдашней бедности, с уникальным деревянным куполом. Позже здание безжалостно снесли, заменив более прочным, бетонным стал и купол.

Цирк больше помнится запахом мандаринов — нас туда в районе Нового года водили хором, целыми классами и одаривали каждого прозрачным подарочным пакетом, оранжево светившимся бочком знакомого, но все же не каждодневного фрукта. Хотя и в остальные времена года цирк был обязательно-добровольным местом посещения — наверное, из тогдашних маленьких жителей города мало кто пропускал сменявшиеся примерно раз в несколько месяцев представления, — случался и водный цирк, и ледовый, и волшебный с распиливанием девушек, исчезновениями с манежа и феерическими возвращениями симпатичных ассистенток прямо из-под купола. Приезжала как-то группа артистов и мистически-психологического жанра, видимо, последователей Вольфа Мессинга, чье имя я уже позже услышал от дяди, мужа нелюбимой тети, также практиковавшего всякого рода гипнотические опыты на публике. Серьезность его непубличной деятельности в тонких сферах убедительно доказывал тот факт, что одно время в качестве психолога-гипнотизера он работал со сборной страны по фигурному катанию.

А в цирке, много позже, приехав в город из Москвы на каникулы, и я два месяца послужил в роли пожарного, убедительно узнав от цирковых, что в цирке «не воняет, а пахнет» и что выгоднее всего пристроиться служителем в номер с собачками: им полагался вполне разнообразный продуктовый рацион, от щедрот которого всегда перепадет на бесплатный супчик. Пристраиваться я не стал, имея иные жизненные планы, но цирк узнал немного изнутри, особенно полюбив наблюдать за помывкой слонов в специальном слоновьем душе.

По соседству с цирком — лишь чуть в горку подняться — стояло мрачновато-

красивое здание краеведческого музея, до революции построенное местным текстильным фабрикантом Бурылиным напротив собственного особняка, соединявшегося, по слухам, с музеем настоящим подземным ходом. Слух лично для меня подтвердился уже много лет спустя, когда в музее проходила выставка картин и рисунков моей жены Тани, и нас с ней директорша музея по моей просьбе провела через сводчатый подземный коридор в бурылинский дом, где к тому времени обосновался музей ситца. А на выставку сверх обычных посетителей один мой одноклассник, чем-то командовавший в пожарном училище, строями водил курсантов, на что Таня со свойственной ей ядовитой иронией заметила: «Никогда не думала, что буду столь популярна в здешних военных кругах».

Краеведческий же музей я по-прежнему люблю, всякий раз по приезде стараюсь заглянуть в него хоть ненадолго, и теперь уж всегда буду сравнивать все иные музеи подобного рода с моим родным, прямо-таки домашним, хотя и одним из самых грандиозных на просторах необъятной Родины, а, признаюсь, посетил я их число немалое: хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию ему из мною виденных могли бы составить лишь краеведческий музей Красноярска, возведенный в египетском стиле на берегу Енисея тоже местным дореволюционным предпринимателем, и краеведческий музей в Южно-Сахалинске, построенный японцами во времена губернаторства Карафуто.

Если же, свернув к музею и его миновав, пройти дальше, то окажешься возле Дворца пионеров, где я некоторое время, последовательно, посещал два кружка — судо- и авиамоделный. Судостроение меня, правда, изначально не привлекало, и туда меня взяли временно, по недостатку мест в более престижной авиации. Но и в столь чаемом авиамоделном я особых похвал не снискал. Я же сразу хотел построить что-то умеющее летать, пусть и не столь фантастическое, как действующая модель радиоуправляемого реактивного истребителя, занимавшего две трети стола руководителя кружка, но хотя бы способного участвовать в шумной забаве под названием «воздушный бой», а меня, как новичка, заставили выпиливать лобзиком две алюминиевые заготовки для нервюры: используя их, предстояло изготовить уже настоящие, из тонкой фанеры, нервюры, которые станут основой скелета крыла. Но сколько я эти несчастные нервюры ни выпиливал, сколько ни «доводил» напильниками, у меня все выходило кривовато, и я раньше руководителя кружка понял, что любая, даже самая примитивная модель самолета, сделанная моими руками, вряд ли когда-нибудь полетит. Что ж, всего лишь подтвердился диагноз нашего школьного учителя труда, доброго и чуть грубоватого, крутившего в руках изготовленную мною с грехом пополам «заданную» нам деревянную лопату для чистки снега: «Да уж, руки у тебя точно не оттуда растут!». Я не обиделся, а после недолгого пребывания в авиамоделном кружке и окончательно убедился в его суровой правоте.

Главным кинотеатром в городе был «КИНОЦЕНТРАЛЬНЫЙ», его так и называли единым слитным словом «киноцентральный», масштабное здание с фасадом-портиком, украшенным монументальными колоннами с не менее чем коринфскими капителями. В глубине, за этим античного масштаба фасадом, внутрь вело несколько высоких двустворчатых дверей, тоже не без обрамления излишествами. Справа и слева было еще некое подобие эркеров, за стеклами которых автоматически, бесконечной лентой показывались фото эпизодов из идущих в большом и малом залах фильмом. Больше я такого нигде и никогда не видел.

В фойе перед сеансом развлекал будущих зрителей настоящий оркестр, и в нем играл на валторне отец еще одного моего друга-одноклассника. Здесь показывали все серии «Фантомаса», породившие недолгую, но по-своему яркую, забавно-подростковую, как и по всей, наверное, стране, «фантомасоманию» со «страшными» письмами соседям от имени менявшего, как перчатки, маски главного злодея и кривыми надписями на заборах и стенах, пугавшими взбудораженную общественность, еще не

знавшую, что все истории про Фантомаса — всего лишь милая французская пародия на недоступную еще даже в мыслях «бондиану».

На фильмы «до 16» мы проникали легко, хотя и замысловато. Скооперировавшись со старшими приятелями, братьями или сестрами друзей, уже обладавшими взрослыми правами, мы просили купить нам билеты, а сами перебирались через забор, обрамлявший прогулочный дворик для зрителей, откуда уже с билетами, то есть, вполне честно, некоторое время пофланировав по фойе в нарочитом отдалении от входа в запрещенный зал, просачивались на сеанс ровно за полминуты до того, как погасят свет. Кажется, первым фильмом «до 16» для меня стало не нечто с проблесками недорезанной цензурой эротики, а примитивный боевик под названием «Гений дзюдо», где дзюдоист побеждал слишком самонадеянного каратиста, хотя именно из-за каратиста мы туда и стремились.

Помню длинные очереди на «Бриллиантовую руку», свой недоверчивый восторг от «Воспоминаний о будущем», очень серьезного фильма о всяческих земных следах то ли инопланетян, то ли протоцивилизаций, как я скучал, а мама едва ли не утирала слезу на «Течёт река Волга» с некрасивой, но и впрямь хорошо поющей Зыкиной. А последнее, что почему-то мелькает в сознании в связи с «киноцентральным», уже вскоре попавшим под бесконечную реконструкцию, это истошный крик швейцара из соседнего ресторана «Иваново»: «Держите его, он у товарища шарф украл!» Несчастному вору кто-то подставил подножку, и его быстро скрутила пара подбежавших милиционеров. А мне, наверное, единственному, было его жалко. В «киноцентральном» же теперь торговый центр.

Известными и заметными фигурами в городе были футболисты команды «Текстильщик», игравшей не в высшей, но все же приличной лиге, и фарцовщики. Лично меня зрелищная сторона футбола ни тогда, ни после не привлекала — на каком-то матче я был единственный раз со старшим двоюродным братом, мечтавшим стать футбольным комментатором, но и я с интересом бросал взгляды в сторону проходившего мимо в окружении свиты долговязого светловолосого парня в невозможно фирменных джинсах — тогдашней звезды местного футбола. Фарцовщики собирались на «пятак», круглом сквере возле гостиницы «Москва», и тоже отличались от всех остальных недоступным простым смертным «фирменным» стилем одежды и тем, что в демонстративных, как иногда мне казалось, неторопливых прогулках по центру города их сопровождали очень красивые девушки.

Сам же стадион «Текстильщик», где базировалась и футбольная команда, я регулярно посещал с самого детства, в одиночестве, с коньками, отправляясь в длинный путь от дома на троллейбусе. И сначала это были коньки фигурные, чего я немного стеснялся. Дело в том, что моя мама в юности довольно серьезно занималась большим, как тогда говорили, теннисом и фигурным катанием, наверное, одновременно, но, скорее всего, посезонно, ибо ни закрытых катков, ни подобных же кортов тогда и представить-то себе никто не мог. О серьезности ее занятий свидетельствует тот факт, что после школы, твердо решив ехать в Ленинград, она не сразу выбрала между институтами Горным и Физической культуры имени Лесгафта, все-таки спортивной карьере предпочтя геологическую. Но от тех времен осталось несколько очень хороших профессиональных фотографий, где она на льду делает «ласточку», и ее рассказ о том, как она в паре играла против тоже смешанной пары с участием тогда еще не столь уж знаменитого Николая Озерова. Мама же меня и уговорила пойти в секцию фигурного катания. Это тоже продолжалось недолго, потому что я так и не отделался от ощущения, что спорт сей не слишком мужской, и завидовал хоккеистам на «канадках», с загнутыми клюшками для хоккея с мячом, снисходительно ожидавшим на краю ледовой площадки, пока мы закончим с нашими неуклюжими «ласточками» и «пистолетами». Правда, карьера моя на фигурном поприще окончилась вполне феерически: мама для костюмированного спортивного праздника нарядила меня

Котом в сапогах с накрахмаленными ботфортами, и за него я неожиданно получил первый приз — набор для настольного тенниса. Позже я катался на том же стадионе уже только на коньках хоккейных, исключительно для удовольствия, по билету, после секций спортивной гимнастики и, совсем коротко, фехтования, оставив серьезные спортивные надежды навсегда.

Примерно тогда же во мне открылся и тайный, для мамы, конечно, и ненадолго, предпринимательский дар: как-то исподволь я научился спекулировать марками. Поначалу ничто такого поворота не предвещало: как и многие тогдашние школьники, я просто увлекся довольно беспорядочным собиранием этих знаков почтовой оплаты, понемногу сосредоточившись на двух направлениях — искусство и Олимпиады. Мама меня поощряла и выделала некоторые разумные средства. Тогда в городе, рядом с главным книжным на Ленина, располагался одноэтажный деревянный магазинчик, торговавший исключительно марками, марочными блоками и «негашеными» конвертами. Тут же марками иногда и обменивались, раскрывая друг перед другом альбомы-кляссы. Вскоре я откуда-то выяснил, что по выходным в том самом Дворце пионеров, где вяло началась и стремительно закончилась моя карьера авиастроителя, собираются филателисты. Тут взрослые дядьки вроде как-то тоже обменивались, но и бодро приторговывали отдельными марками и целыми сериями. Самые яркие и красивые на мой тогдашний взгляд марки выпускались какими-то экзотическими, чаще арабскими, маленькими странами: например, у меня была чудесная йеменская, кажется, серия, посвященная живописным воплощениям образов Наполеона. Что-то я выменивал, что-то покупал, в будни продолжая регулярно посещать и филателистический магазин, где некоторые посетители моими новыми приобретениями, демонстрируемыми из форсу, заинтересовались. Однажды попросили продать одну из экзотических серий. Поколебавшись, я согласился.

Вскоре у меня возникло несколько взрослых клиентов, к которым влет уходили самые яркие марочные серии (а надо сказать, что теми же арабами и индо-китайцами выпускались даже «объемные» марки), приобретенные накануне во Дворце пионеров. Так у меня появились «лишние» деньги. Конечно же, маме в своих спекулятивных деяниях я признаться не мог, купить что-то ценное по той же причине себе не позволял, и не нашел ничего лучшего как менять заработанные бумажные деньги на мелочь и хранить их в цветочной вазочке на окне, дабы иметь возможность в случае разоблачения сослаться на то, что все это богатство просто «накопил» (а бывало там одновременно рублей по пятнадцать-двадцать — сумма запредельная для советского восьмиклассника). Копилку мою мама рано или поздно, конечно, обнаружила, имела со мной серьезную беседу, в ходе которой я упорно стоял на версии бережливого накопительства от школьных обедов и завтраков, но подозрения ее в некоем не слишком честном способе их обретения не развеял. И все как-то само собой сошло на нет: увлечение марками кончилось, а вместе с ним истаял и мой спекулятивно-предпринимательский талант, уж слишком преждевременно, по историческим меркам, обнаружившийся. О чем я, впрочем, никогда впоследствии не жалел.

Когда кончится советская власть

На истфак Ивановского университета мы поступили аж вчетвером из нашего класса. Одного из нас уже нет на свете, второй стал генералом, третий майором, закончив службу в местном пожарном училище, а я так и вовсе там не доучился, предпочтя пойти иным путем.

Надо отдать должное, преподавали нам хорошо — и древний мир, и античность, и даже логику, из которой я до сих пор помню несколько несложных силлогизмов. Все было честно — КПСС так КПСС, Египет и Греция — лишь с самым малым, вполне

дежурным марксистско-ленинским уклоном, а про древний Китай и Японию нам рассказывал молодой, глубоко погруженный в свой изысканный предмет выпускник восточного факультета Ленинградского университета, кажется, вообще не подозревавший о существовании марксистско-ленинской классовой теории. Да и весело бывало.

Крупного формата преподавательница истории древнего Востока как-то, чуть загадочно улыбаясь, спросила аудиторию (а лекция была почему-то поздняя, ближе к вечеру, хотя мы и учились на дневном):

— Чем отличаются семиты от антисемитов?

Чуя подвох, ошарашенная аудитория молчала.

— Семиты, — пояснила она, — это те, кто успевает до семи, антисемиты же — те, кто не успевает! (Для юношества поясню: в советское время спиртное продавалось строго с одиннадцати утра до семи вечера.)

После первого курса была двухмесячная археологическая практика: кто-то отправился в Херсонес, другие — к гнездовским курганам, а мы — в Изборск. После второго курса я поехал туда уже вольнонаемным, и это кардинально изменило мою жизнь. Там я встретился с невиданными раньше людьми, откровенно презиравшими советскую власть и увлеченными чем-то настоящим: с фотографами, художниками, искусствоведами из Эрмитажа. Именно от кого-то из них я узнал о только что вышедшем тогда «Метрополе», вместе с ними отправился в Великий Новгород, не говоря о том, что в Псково-Печорский монастырь я впервые попал еще после первого курса, а потом уж туда и зачастил, не то чтобы став сразу очень религиозным, а все же почувствовав таинственную и подлинную монастырскую привлекательность.

А еще накануне второй своей изборской экспедиции, весной 1979 года, когда мы выпивали в квартире одноклассника в том самом обкомовском доме, у «стен» которого как-то и попались на глаза общественности, я заявил вдруг:

— А советская власть при нашей жизни кончится! (Употребил я более народно-бесприкословный глагол, да не суть.)

Мои товарищи посмотрели на меня с испуганным недоумением, возникшим не столько от крамольности моих речей, сколько от опасения — все ли со мной в порядке по части душевного здоровья. Кстати, один из участников тогдашних посиделок, мой друг, много лет спустя вспомнил мои слова:

— А ведь ты оказался прав! — Было ощущение, что он все еще не до конца верил в реальность случившегося.

Правда, советская власть каким-то загадочным образом вернулась, да еще в своем худшем изводе, но ведь на самом деле сначала и вправду кончилась.

После же возвращения из моего «второго Изборска» я принял одно из самых важных решений в своей жизни.

Первого сентября нас, третьекурсников, собрали в аудитории, чтобы вновь заявить о том, что мы опять на месяц едем на «картошку». Наш исторический декан, Валерьян Макарович, бородатый и безусый, вылитый профессор из какой-то другой истории, обвел взглядом студентов и задал дежурный риторический вопрос:

— Кто не может ехать в колхоз?

С заднего ряда поднялась лишь моя одинокая рука.

— Зайдешь сразу ко мне, объяснишь, что у тебя за причина!

В его кабинете я заявил без особых предисловий:

— Я уйду из университета.

Декан попытался скрыть свое изумление под язвительно-доброжелательной маской:

— Да я тебя еще на первом курсе должен был выгнать, после первой же твоей пьянки на «картошке». Но пожалел. А теперь ты зачем-то... Так в чем причина?

— Я хочу поступить в Литературный институт, а там с высшим образованием не принимают.

— Да ты что! Туда же невозможно поступить, почти как в Институт международных отношений!

— Попробуем.

Освободившись от картошки, я тут же уехал в экспедицию от Института археологии в Курскую губернию, где по реке Сейм мы «снимали» древние городища, несколько месяцев затем поработал в областной молодежной газете курьером, параллельно сочиняя статьи и заметки. Но так как меня обманули и в корреспонденты не перевели, и оттуда я ушел — к маме лаборантом в геологоразведочную контору. Ну а весной отправился в армию, в Прибалтику.

Вернувшись через двадцать шесть месяцев (уж очень армия, где я тоже не раз «отличился», меня отпускать не хотела), я похоронил маму, поступил в Литинститут и приехал ненадолго в родной город.

Пришел я и в университет, к декану Валерьяну Макаровичу, который меня не забыл.

— А я поступил! — заявил я, даже не объясняя, куда.

— Молодец! — сказал он, пожимая мне руку. — Я всегда в тебя верил!

Легкое прощание

Первые литинститутские годы моя однокомнатная квартира на улице Театральной меня неплохо подкармливала: я сдавал ее разным хорошим знакомым, по большей части молодым семейным парам, чьи родители знали о моем не слишком благополучном положении и платили мне по максимальной ставке и регулярно. Только на летние каникулы я возвращался, так как из общежития на Добролюбова всех на лето «выставляли», квартиранты на это время съезжали к родителям или на дачи.

Два лета выдались довольно трудными: квартирный финансовый источник прерывался, а стипендии меня тогда, как назло, лишали за необъяснимые с точки зрения институтской администрации пропуски занятий и несмотря на вполне приличную успеваемость. Как я выкарабкивался в первое лето, уже не помню, а во второе я работал в цирке, остальное время проводя с художниками в их веселых подвальных мастерских.

А третьего лета уже и не случилось. Случилась чудесная любовь, и мы с Таней уже сами снимали квартиру, но только в Москве, так как у нее дома тогда жить нам было негде по причине некоторой перенаселенности. Но чтобы окончательно легализоваться в Первопрестольной, мне нужно было официально «прописаться». Перенаселенность по закону сей процедуре не препятствовала, но для этого надо было «выписаться» из квартиры ивановской, что означало бы ее безвозмездную потерю в пользу нелюбимого государства.

Тогда квартиру у меня снимал брат одного моего друга, имевший микроскопическую комнату в коммуналке «четырехсотквартирного дома» на Рабочем поселке. К слову, дом этот был архитектурно знаменит, являясь плодом советского конструктивизма наряду с еще двумя — домом-подковой и домом-кораблем.

Служа на небольшой бюрократической должности в системе советской власти, мой квартирант и предложил обменять мою квартиру на его комнату с доплатой. Наш довольно лукавый обмен благодаря его связям легко утвердили. В своей комнате я ни разу не побывал, даже из чистого любопытства, и тут же после обмена навсегда из Иванова «выписался». Деньги я получил по моим тогдашним представлениям приличные, по сегодняшним же меркам смешные, мебель за малую компенсацию оставил новым жильцам, а настенные часы подарил художнику Генералову. Они и

сейчас отмеряют время в его мастерской. Об одном жалею: во время всех пертурбаций с моей квартирой, в неизвестный мне период пропали мои многочисленные альбомы с марками, ну да бог с ними.

Всякий раз, когда я приезжаю в город, я останавливаюсь у своего армейского друга Володи. Но однажды, оказавшись в Иванове по работе, я поселился в гостинице неподалеку от цирка, откуда Володе и позвонил. Но вместо радости в его голосе услышал холодное молчание, разрядившееся лишь строгой фразой:

— Тебе что, жить здесь больше негде?

Я покался и тем же днем перебрался к Володе.

О любви

Я всегда считал, что этот город не люблю.

Хотя по опыту работы во многих «географических точках» страны и хорошо понимаю многие неоспоримые преимущества навсегда остаться там, где у тебя по праву рождения и первоначальной жизни «все схвачено»: друзья и знакомые есть во всех сферах — от медицины до полиции. Однажды, когда мы загуляли у очередного одноклассника, мне вдруг приспичило позвонить другому нашему товарищу, тому самому, из детсадовской песочницы — он тогда еще не стал генералом, но уже был в чинах и при немалой должности. Как назло, ни у кого не было действующего Сережиного телефона, но я нашел, как мне показалось, гениальный выход и позвонил просто по городскому на «02». Там, конечно, выслушав мою просьбу связать с другом, сначала несколько оторопели, но ненадолго и всячески поспособствовали. Нет, номер его мобильного мне не дали, зато через какую-то свою хитрую внутреннюю связь соединили с ним напрямую. Весь процесс занял каких-то две-три минуты.

Однако в Москве тоже есть свои немалые преимущества, тем более что здесь давно мой дом, где мне хорошо. К друзьям же в Иваново я всегда могу приехать, или они ко мне. И все же.

Я давно не ездил туда поездом, однако до сих пор помню это холодноватое, но трогательное до необъяснимости чувство, когда ранним утренним поездом подъезжаешь к городу: гулкий стук колес по железнодорожному мосту, серо-белая тюрьма за колючкой, где как раз начинается развод, знакомые дома и улицы и вокзал, откуда всегда к троллейбусу или стоянке такси выходишь, враз вдохнув глубоко прозрачно-прохладный воздух. Есть еще и огромная береза в моем дворе, которую я сам сажал на добровольном субботнике деревцем в полтора моих тогдашних роста. К ней я тоже стараюсь всегда сходить и молча, уже давно не стесняясь самого себя, поздороваться.

И будущую жену я встретил в Москве, а не в «городе невест», и дочь наша родилась в Первой градской, правда, в отличие от меня, все же окончила истфак, но МГУ. А вот могилы родные есть уже и там, и там.

Как-то оно так само собой сходится к искомой гармонии.

Смею надеяться, что в этих «памятных записках» я сохранил какие-то чудесные детали мироздания времен моего детства и юности, известные лишь узкому кругу лиц или вовсе одному мне. О чем-то я упомянул не случайно, а нарочно, о многом умолчал — не надо трогать. Может быть, в этом и есть главный смысл изначальной мудрости: все помнить и не обо всем говорить.

А в городе пусть все будет хорошо, хотя я и никогда туда не вернусь.